

МЫ НИКОГДА НЕ СЛУШАЛИ

УЛЬЯНА ВОРОНИНА



18+

Ульяна Воронина

Мы никогда не слушали

<https://litres.ru/74355598>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он заблокировал его номер, чтобы спасти себя. Теперь ему придется слушать его голос, чтобы понять, кого он убил. Год назад Кирилл бросил Мирона посреди нервного срыва. Сегодня Кирилл — успешный бизнесмен, а Мирон оставил после себя флешку с дневниками. Запись длиной в сто двадцать минут доказывает: иногда самый жестокий поступок во имя любви — это просто уйти и оставить человека одного со своей тьмой.

Содержание

Часть первая	7
Мирон Соколов	8
Кирилл Назаров	14
Часть вторая	21
Прошло две недели.	22
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Ульяна Воронина

Мы никогда не слушали

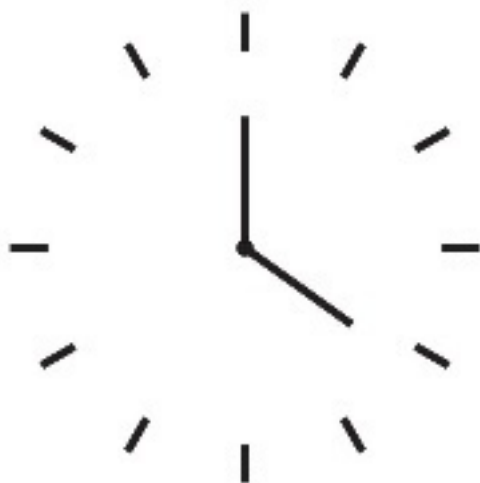
МЫ НИКОГДА НЕ СЛУШАЛИ

УЛЬЯНА ВОРОНИНА

Белгород



*Для тех, кому требуется напоминание о том, что важен
каждый день, проведенный с близким человеком.*



Часть первая

Поле боя после дождя

Мы так долго друг на друга сквозь шум дождя, что когда он наконец стих, в наступившей тишине просто не осталось ни одного слова, способного нас спасти

17 августа 2026 года

Мирон Соколов

03:00

Мирон сидит на полу кухни, привалившись спиной к холодной эмали холодильника. Плитка под ягодицами высасывает тепло, превращая кости в лед. Три часа ночи.

На столе остывает забытая сковородка с присохшими по краям черными лохмотьями яичницы — та самая причина ссоры. Глупость, не стоящая выеденного яйца. Сковорода давно не имеет значения. Время тоже перестало иметь значение ровно три часа и двенадцать минут назад, когда за Кириллом захлопнулась входная дверь, заставив дрогнуть косяк. Он ушел «успокоиться», бросив это слово через плечо как скомканную подачку, но так и не вернулся.

Для Мирона эта тишина — физическая пытка. Она давит на барабанные перепонки сильнее любого крика, выдавливает глазные яблоки из орбит. В их съемной однушке всегда стоял плотный, осязаемый гул: монотонно гудел системный блок под столом, назойливо капала вода из неплотно закрытого крана в ванной, сам Кирилл постоянно что-то мычал себе под нос, рылся в рюкзаке или со злостью, с яростным скрежетом щетины о щетку чистил зубы. Этот бытовой шум был пульсом их жизни. Тишина означала только одно — пустоту. Клиническую смерть отношений. Сейчас она была абсолютной, густой, как застывающий в жилах желатин.

Мирон слышит собственное дыхание — слишком громкое, чужое, сиплое, словно в комнате есть кто-то третий, тяжело дышащий ему в затылок.

Он закрывает глаза, спасаясь от стерильного, мертвенно-синего света диодной ленты под шкафами, и проваливается в прошлое, туда, где еще можно было дышать. Летний лагерь. Ему пятнадцать. Душный плацкартный вагон, липнувший к мокрой спине дешевый полиэстер спортивных штанов. Они едут с тур слёта, проиграв соседнему корпусу в ориентировании. Весь отряд храпит, воняет чипсами, комариным репеллентом и прелым костром, а Кирилл спит у него на плече. Не просто задремал от усталости, свалившись тяжелым мешком, а именно *спит*. Его голова неподъемным, сладким грузом лежит на ключице Мирона, колючая мочка уха почти касается сонной артерии. Одна нога Кирилла сползла с узкой полки и безвольно повисла в проходе, кроссовок чуть не слетел. Во сне он едва заметно посапывал, доверчиво приоткрыв сухие губы.

И тогда Мирона ударило под дых — так, что перехватило горло, свело живот и стало физически нечем дышать. Это было не дружеское неудобство. Это был акт абсолютного, первобытного доверия. Отдать контроль над своим телом, весом, теплом другому человеку во время уязвимости — самое честное признание в близости, которое Мирон когда-либо получал. В тот момент спертый воздух в вагоне загустел, потяжелел и стал стеклянным. Хотелось замереть и никогда

больше не двигаться, чтобы случайно не разбить этот хрустальный момент.

С тех пор он начал коллекционировать касания друга. Это превратилось в тихую, параноидальную одержимость, в скрытый дофаминовый голод. Вот Кирилл стряхивает крошки с его свитера резким, раздраженным движением широкой ладони. Вот он рассеянno прихватывает зубами кожу на запястье Мирона, пока ищет в кармане джинсов вибрирующий телефон. Вот тяжелый, бессознательный заброс руки поперек груди посреди ночи, чтобы притянуть ближе к теплomu боку, потому что дует от окна. Каждое такое движение Мирон мысленно брал пинцетом, опускал в формалин и складывал в копилку памяти, запечатывал там и хранил, боясь случайно потратить, боясь истереться об них до дыр. Он знал каждую родинку на лопатках Кирилла, выстраивая их в несуществующие созвездия; помнил на вкус соль на его шее после того, как они бежали под июльским ливнем до электрички; знал, как меняется рельеф мышц под тонкой черной футболкой, когда друг тянется за верхней полкой шкафа.

Сейчас его любовь давно перегорела дотла, оставив после себя лишь радиоактивный пепел тяжелой формы зависимости. Ей не нужен секс — механику тел они изучили еще на втором курсе университета, жадно, торопливо, и быстро потеряли к ней интерес, перейдя на уровень старой разношенной обуви. Ему не нужна романтика, свечи или совместные фото для соцсетей. Ему нужно знать, что завтра на-

ступит утро. Что гравитация продолжит работать. Что ровно в семь утра Кирилл будет стоять здесь, на этой кухне, зашпанный, злой, чтобы швырнуть в стену связку ключей (тот самый звонкий, рассыпающийся металлический звук, который будил лучше любого будильника) и обматерить Мирона за открытый тюбик зубной пасты, оставленный горлышком вниз у зеркала. Без этого ежедневного бытового шума, без этих предсказуемых вспышек раздражения мир вокруг перестает существовать, превращаясь в плоский, мертвый чертеж архитектора. Если исчезнет гнев Кирилла, если пропадет его тяжелая поступь, исчезнет и сама гравитация. Мирону некуда будет падать.

Карман джинсов вибрирует внезапно, обжигая бедро сквозь плотную ткань, как оголенный провод. Сердце пропускает удар, заходясь в тошнотворном спазме надежды. Мирон вздрагивает, больно ударяясь затылком о ребристый металл холодильника. Искры перед глазами. Телефон мелко дрожит на линолеуме экраном вверх. Сообщение от Кирилла:

«Не жди. Я снял квартиру. Нам надо перестать общаться».

Текст сухой. Обескровленный. Пунктуация выверена до тошноты, до миллиметра. Ни одного опечатанного тире, ни одной лишней буквы, которые выдавали бы спешку, пьяную истерику или хотя бы живое человеческое сожаление. Только вежливая, клиническая окончательность смертельного диагноза, подписанного разборчивым почерком пато-

логоанатома.

Мирон перечитывает его сорок раз. Раз. Два. Десять. Двадцать восемь. Сорок. Экран старого телефона мерцает, частота обновления падает, пытаюсь сэкономить остатки батареи, и черные пиксели букв начинают плыть, стекая вниз жирными чернильными слезами. Слово «перестать» распадается на бессмысленные слоги: «пере-» и «-стать». Стать кем? Чужими? Тенями? Памятью, которую хочется вырезать скальпелем?

Он медленно сгибается пополам, укладывая лоб на ледяной край плитки, и опускается обратно на пол. Суставы пальцев побелели, сжимая собственные колени до синяков. Легкие отказываются брать воздух, каждый вдох царапает трахею изнутри мелкой наждачной бумагой. Горло сводит сухим, беззвучным криком. Ему отчаянно, до темноты в глазах, до искр под веками нужно почувствовать свое тело, доказать воспаленному мозгу, что он все еще материален, что он состоит из мяса и костей, а не растворился в этой кухонной тишине целиком. Взгляд цепляется за раковину, покрытую жирной пленкой.

Рядом с горой грязной посуды валяется разбитая утром кружка. Толстостенная, керамическая, купленная на какой-то барахолке. Фарфоровый край откололся неровно, превратившись в идеальный полукруг матового, опасно острого стекла.

Мирон медленно наклоняется, подбирает осколок двумя

пальцами. Тот холодный, влажный от оседающего на нем пара чужой готовки. Он закатывает рукав домашней толстовки, обнажая левое предплечье, покрытое сеткой старых, уже серебристых шрамов. Проводит осколком по коже — сначала легко, едва касаясь, рисуя прямую белую линию поверх старого рисунка. Холод стали отрезвляет лучше нашатыря, возвращая ощущение собственного тела, заземляя панику. Затем чуть глубже, под небольшим углом. Кожа расходится мгновенно, послушно, даже охотно. Выступает густая, темно-вишневая горячая кровь, заливая бледное запястье и собираясь в одну крупную каплю, которая срывается прямо на серые треники. Боль получается правильной — острой, понятной, физической. Она наконец-то перекрывает ту другую, выворачивающую наизнанку метафизическую пустоту в грудной клетке. Кровь теплая. Липкая. Настоящая. Значит, он еще жив. Пока что. И значит, то, что было между ними, тоже было настоящим. По крайней мере, для него.

Кирилл Назаров

03:13

Кирилл едет в такси с одной спортивной сумкой, брошенной на заднее сиденье. Молнию заело еще месяц назад, и теперь она застегнута только до середины, зияя темной пастью. В ней нет ни ноутбука, ни сменной одежды на неделю, ни документов — ничего, что намекало бы на возвращение. Только мятые джинсы со следами вчерашней уличной грязи, старая зубная щетка с облезшей щетиной и толстовка, которая до сих пор пахнет кондиционером для белья Мирона и его дешевым табаком. Этот запах бьет в нос химозной сладостью, но Кирилл не убирает вещь в пакет. Пусть будет якорем.

Внутри него самого не бушует драма, не рвутся струны души под оглушительный симфонический аккомпанемент — там звенит пустота. Плотная, вакуумная тишина высокого давления, которую он так долго, отчаянно и глупо путал со спокойствием домашней гавани. Но сейчас эта пустота впервые за пять лет заполняется кислородом. Настоящим, морозным, городским. Каждый вдох дается легко, без привычного подсознательного ожидания упрека за то, что он дышит слишком громко, или того, что воздух из его легких якобы отравляет атмосферу квартиры. Водитель везет молча, включив шансон — тихий, фоновый-убаюкивающий. Кирилл

ла это больше не бесит. Любой звук извне кажется музыкой по сравнению с их домашним молчанием.

Их последняя ссора была точной копией предыдущих ста четырех: механический, выученный наизусть танец двух калек, которые знают каждый поворот партнера, каждое фальшивое па. Все началось с сущего пустяка, с цифрового мусора, который даже не стоил открытия мессенджера — Мирон довел его до белого каления своим допросом о том, почему Кирилл поставил смеющийся эмодзи под фото бывшей однокурсницы. Какая-то дурацкая встреча выпускников, смазанное селфи в полумраке бара, где половина лиц уже пошла пьяными пятнами. — Ты ржешь над ней? — голос Мирона тогда упал до того самого опасного, змеиного шепота, от которого у Кирилла всегда сводило скулы и немела левая рука. — Или надо мной? Что конкретно тебя так веселит, Кирилл? Цифровое подтверждение измены? Моя несостоятельность? Кирилл орал, срывая связки до хрипоты, чувствуя, как пульсирует вену на шее. Он швырнул об стену их общую кружку — тяжелую, подаренную кем-то на новоселье, просто чтобы услышать звон разбивающейся керамики вместо этого липкого, ядовитого шепота, заползавшего прямо в мозг. Орал, что он сходит с ума, что ему физически не хватает места внутри собственных ребер, что стены давят, а потолок опускается. Орал, что невозможно дышать в этой квартире, потому что сам воздух здесь пропитался паранойей, каждая поверхность покрыта невидимым слоем взаим-

ных претензий и невысказанных обид.

В ответ Мирон заплакал. Он не зарыдал, не начал биться в истерику, размазывая сопли по лицу, как делают нормальные люди. Он просто опустился прямо на кухонный пол, привалившись спиной к ледяной эмали холодильника, подтянул колени к груди и тихо, беззвучно разрыдался, глядя сухими, воспаленными глазами в одну точку чуть левее кроссовки Кирилла. Ни одна слеза не скатилась по щеке — они просто стояли в глазах стеклянным, неподвижным куполом, делая взгляд абсолютно пустым, мертвым. И именно этот плач стал последней каплей. Смертельной инъекцией адреналина прямо в остановившееся сердце. Плач Мирона всегда был оружием массового поражения. Идеально откалиброванным хирургическим крюком из холодного хирургического сплава, которым он цеплялся за горло Кирилла изнутри, прямо под кадыком, перекрывая кислород одним своим видом. Это заставляло чувствовать себя палачом, садистом, чудовищем, мучающим котенка. Это было пассивное принуждение к жалости возведенное в абсолют. «Смотри, до чего ты меня доводишь. Посмотри во что ты превращаешь любимого человека». Механизм работал годами безотказно, как швейцарские часы: Кирилл сбрасывал ярость до нуля, падал рядом на колени, целовал сухие веки, просил прощения за тон голоса, за забытый мусор, за невымытую сковородку. Но сегодня механизм дал сбой. Жалость закончилась. Резервуар высох, оставив на дне лишь черный ил. Вместо привычно-

го спазма вины в солнечном сплетении Кирилл почувствовал лишь глухое, вязкое раздражение, поднимающееся снизу вверх, похожее на тошноту. Ему стало противно. Липко, мерзко, стыдно за самого себя. Противно от манипуляций, противно от собственной предсказуемости, противно от того, что взрослый тридцатилетний мужик снова использует детские, оленячьи глаза и беззвучные рыдания как непробиваемый щит. Эмодзи больше не имел значения. Значение имело только желание перестать быть тюремщиком при этом вечно обиженном ребенке. Желание снять наконец с шеи эту петлю чужой хрупкости.

Снятая студия на другом конце города встречает его идеальной чистотой стерильного гостиничного номера. Белые матовые стены, серый ламинат, резкий запах дешевой строительной краски, нового ДСП и мебели из прессованных опилок. Никто не оставил влажные темные волосы в сливе душа, образующие гниющую черную розу. Никто не смотрит тяжелым, прожигающим взглядом между лопаток, пока он пытается выдавить пасту на щетку. На узкой кровати лежит абсолютно плоская, хрустящая от крахмала, не знавшая чужого веса подушка. Пол блестит. Зеркала прозрачны.

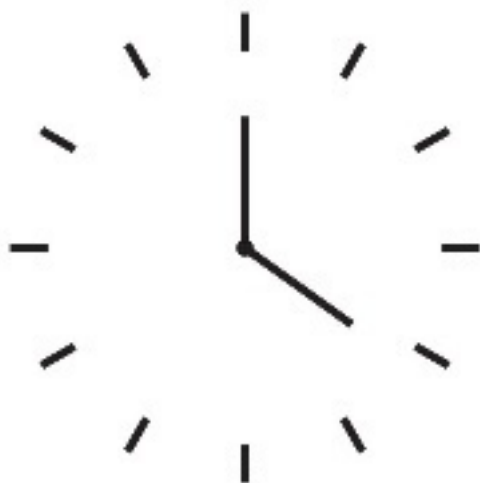
Он заваривает кофе в одноразовом бумажном фильтре — дешевый, растворимый, отвратительно-кислый на вкус, царапающий нёбо. Наливает в первую попавшуюся чашку — обычную белую, без сколов. Садится прямо на широкий пластиковый подоконник, подтягивая острые колени к гру-

ди, обхватывая их руками, и впервые за пять лет замечает, какой красивый вид открывается на рассветный город. Окна студии выходят строго на восток, ничем не заслоненные. Небо из черного бархата становится сизым, затем густо-лиловым, а после заливается густой, апельсиновой краской, словно кто-то расплескал сок по стеклу. Городские огни внизу гаснут один за другим, лениво уступая место холодному, честному свету нового дня. Раньше утро означало начало дежурства: нужно следить за уровнем воды в чайнике, потому что Мирон любит ее ровно на два сантиметра ниже края; нужно успеть в душ ровно до шести тридцати, пока тот не занял ванную на сорок минут, напевая там свои бесконечные грустные баллады. Теперь утро принадлежит только ему. Каждое движение челюсти, каждый глоток принадлежат только ему.

Его плечи опускаются. Впервые за двести девяносто два дня (он знает точную цифру, потому что ведет этот календарь ада в голове) диафрагма расслабляется полностью, проваливаясь вниз. Тот самый мышечный панцирь, который он нарастил вокруг грудной клетки, чтобы защищаться от ежевечерних артиллерийских ударов, рассыпается в труху. Лопатки сами собой прижимаются друг к другу, сходятся, освобождая зажатые нервы. Улыбка, которую друзья не видели годами — та самая широкая, немного шкодливая улыбка из студенчества, когда они воровали вишню в чужих садах и убегали от собак, — медленно, неуверенно, будто вспо-

миная движения, а затем все смелее возвращается на лицо. Она кажется чужой, пластикой покойника, непривычно растягивая давно атрофированные мышцы лица, обнажая десны. Кирилл делает большой глоток горького кофе, жмурится от удовольствия, чувствуя, как тепло разливается по пищеводу, и закрывает глаза, подставляя лицо бледному осеннему солнцу.

Где-то там, на другом конце города, через три района, две линии метро и вечную пробку на мосту, на ледяном полу кухни сидит Мирон. Его трясет, кровь впитывается в линолеум, а телефон обжигает ладонь сухим сообщением. Но отсюда, сквозь двойные стеклопакеты новой студии, сквозь километры асфальта и бетона, его боль звучит абсолютной, благословенной тишиной. Вечный покой. Наконец-то можно выдохнуть.



Часть вторая

Музей одного зрителя

Выставка закрыта. Билеты распроданы не были. Единственный зритель гасит свет и остаётся в темноте навсегда.

Прошло две недели.

Две недели — это четырнадцать суток, триста тридцать шесть часов и ровно двадцать тысяч сто шестьдесят минут непрерывной, выматывающей агонии. Время перестало течь линейно; оно превратилось в густой деготь, в котором Мирон вяз по самую макушку.

Мирон перестал ходить в университет. Он соврал куратору про тяжелый грипп с осложнениями, написав сообщение дрожащими пальцами на сенсорном экране, но на самом деле просто физически не мог заставить себя выйти из дома. Порог квартиры казался границей другого измерения. Солнечный свет резал глаза до слез, заставляя щуриться до спазмов лицевых нервов, а люди на улице казались плоскими картонными декорациями любительского театра, за которыми скрывалась абсолютная, звенящая пустота. Его мир сузился до периметра съемной однушки, до радиуса действия домашнего Wi-Fi.

Он спит днем, проваливаясь в липкий, тревожный не-сон только под утро, когда первые лучи выжигают тени на шторах, потому что ночь принадлежит воспоминаниям. Ночь — его законное время для пыток, его персональная испанская инквизиция. Как только стрелки переваливают за полночь, тишина перестает быть пустой акустической средой и начинает разговаривать голосом Кирилла. Она звенит посудой

в раковине, которую тот никогда не мыл вовремя, хмыкает несмешным шуткам из ноутбука и тяжело вздыхает перед сном, перетряхивая одеяло. Мирон лежит, замерев, боясь пошевелить пальцем ноги, чтобы этот фантомный звук не исчез.

На третью ночь отсутствия Кирилла внутренний предохранитель окончательно перегорел. Мирон сорвался. Он создал в своей комнате инсталляцию боли: спустился ночью в круглосуточный гипермаркет у дома, купил пять пачек плотной матовой бумаги, забив рюкзак доверху, вернулся домой, сел на пол посреди коридора и начал скачивать архив. Он выгреб из облачного хранилища все их совместные фотографии за пять лет — почти четыре тысячи снимков — и распечатал каждую. Сотни глянцевого прямоугольника. Он развесил их на стенах хаотичным, плотным ковром от самого плинтуса до потолка, закрепляя скотчем прямо поверх обоев в гостиной. Скотч скрипел, отклеивался, и Мирон прижимал его ладонями, оставляя жирные отпечатки.

На снимках они везде выглядят счастливыми — ослепительно, глянцево, неприлично влюбленными. Идеальная пара с открыток. Вот они пьяные целуются у фонтана на ВДНХ, вода бликует в волосах Кирилла. Вот Кирилл уснул тяжелым, мертвым сном на плече Мирона в душном кинотеатре на окраине. Вот они дурачатся на кухне, натянув свитера друг друга задом наперед, обнажая бледные шеи. Для всех остальных это была образцово-показательная любовь. Иде-

альный союз двух половинок, нашедших друг друга в огромном городе. Для Мирона эта стена стала залом суда присяжных. И он был единственным обвиняемым.

Он знает правду, спрятанную за EXIF-данными этих файлов: даже там, где они смеются, растягивая уголки губ по указке таймера камеры, внутри него уже тогда росла черная опухоль ревности. Она пульсировала под диафрагмой холодным, скользким комком. Он смотрит на фото из Питера: ветер треплет волосы Кирилла, он щурится от низкого северного солнца и выглядит абсолютно свободным, диким, счастливым. А Мирон помнит ту поездку по-другому. Помнит, как сводило живот каждый раз, когда Кирилл слишком долго смотрел на прохожую девушку в яркой куртке, или смеялся над чьей-то чужой плоской шуткой чуть громче, чем над его собственной. Ревность жила в нем еще до того, как губы Кирилла коснулись кого-то другого. До того, как появился первый смеющийся эмодзи под чужим фото. Она родилась вместе с любовью, сиамским близнецом-паразитом, вытягивающим из него кальций и волю к жизни.

Он начинает писать письма Кириллу в заметках телефона. Это превращается в еженочный ритуал самоистязания, цифровой стигматизм. Экран светит мертвенной синевой в лицо, пальцы отбивают ритм ненависти по стеклу так сильно, что на подушечках остаются белые следы. Первое начинается со слов «Ты мразь», напечатанными капслоком, прыгающими буквами, и дальше идет трехстраничный список

всех причин, почему Кирилл должен сдохнуть в придорожной канаве, перемежающийся грамматическими ошибками от тряски рук. Второе, написанное спустя сорок минут после первого, когда адреналин спадает и накрывает химический отходняк, начинается с тихого, отчаянного «Я скучаю». Третье состоит всего из одного слова: «Вернись». Четвертое — из тысячи извинений за невымытую сковородку, за то, что дышал тем же воздухом, за то, что вообще существовал и имел наглость родиться. Ни одно не отправляется. Кнопка отправки заблокирована животным, первобытным страхом увидеть внизу значок «Прочитано» без единого ответа следом. Телефон становится его исповедальней, цифровой могилой их отношений, куда он складывает мертвые слова вместо цветов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.